

Борис Акунин

ПЕЛАГИЯ
И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ



Издательство АСТ
Москва

С любовью – Н.С. и Ч.Г.

Часть первая

БЛЮДИТЕСЯ ПСОВ

I

СМЕРТЬ ЗАГУЛЯЯ

...А надо вам сказать, что к яблочному Спасу, как начнет небо поворачивать с лета на осень, город наш имеет обыкновение подвергаться истинному нашествию цикад, так что ночью и захочешь спать, да не уснешь — вот какие со всех сторон несутся трели, и звезды опускаются низко-низко, луна же и подавно виснет чуть не над самыми колокольнями, делаясь похожа на яблоко нашей прославленной «сметанной» породы, которую местные купцы поставляют и к царскому двору, и даже возят на европейские выставки. Если б кому выпало взглянуть на Заволжск из небесных сфер, откуда изливаются лучи ночных светил, то перед счастливецом, верно, предстала бы картина некоего зачарованного царства: лениво искрящаяся Река, посверкивающие крыши, мерцание газовых фонарей, и над всей этой игрой разнообразных сияний воспаряет серебряный звон цикадного хора.

Но вернемся к владыке Митрофанию. О природе же упомянуто единственно для пояснения, почему в эту ночь уснуть было бы непросто и самому обыкновенному человеку, обремененному заботами поменее, чем губернский архиерей. Недаром же недоброжелатели, которые есть у каждого, не исключая и этого достойного пастыря, утверждают, что именно преосвященный, а вовсе даже не губернатор Антон Антонович фон Гагтенау, является истинным правителем нашего обширного края.

Впрочем, обширен-то он обширен, однако населен не густо. Из настоящих городов, пожалуй, один Заволжск только и есть, прочие же, включая и уездные,

представляют собой разросшиеся села с кучкой каменных присутствий вокруг единственной площади, невеликим собором и сотней-другой бревенчатых домишек под жестяными крышами, которые испокон веков у нас красят отчего-то непременно в зеленый цвет.

Да и губернская столица не бог весть какой Вавилон — в описываемый момент все ее население составляло двадцать три тысячи пятьсот одиннадцать человек обоего пола. Правда, на неделе после Преображения, если никто не помрет, ожидалось увеличение числа обывателей еще на две души, потому что жена правителя губернской канцелярии Штопса и мещанка Сафулина ходили на сноснях, а последняя, по общему мнению, уже и перехаживала.

Обычай вести строгий учет населения завели недавно, при нынешней власти, и то только в городах. А сколько кормится народишку по лесам да болотам — это уж Бог веши, поди-ка посчитай. От Реки до самых Уральских гор на сотни верст тянутся непроходимые дремучие чащи. Там и раскольничьи скиты, и соляные фактории, а по берегам темных, глубоких речек, по большей части вовсе безымянных, живет племя зыть, народ смирный и послушный, угорского корня.

Единственное упоминание о древнем бытовании нашей незначительной области содержится в «Нижегородском изборнике», летописи пятнадцатого столетия. Там сказано о новгородском госте по имени Ропша, которого в здешних лесах «уловиша дики голобрюхи языке» и во жертвоприношение каменному идолу Шишиге лишили головы, отчего, как считает нужным пояснить летописец, «оный Ропша погибоша, преставися и погребен бысть без главы».

Но то было во времена давние, мифические. Теперь же у нас тишь и благолепие, по дорогам не шалют, не убивают, и даже волки в здешних лесах из-за обилия живности заметно толще и ленивее, чем в прочих губерниях. Хорошо живем, дай Бог всякому. А что до

ропота архиереевых недоброжелателей, то рассуждать, кто истинный правитель Заволжского края — владыка ли Митрофаний, губернатор ли Антон Антонович, многоумные ли губернаторовы советники, а может, и вовсе губернаторша Людмила Платоновна, — не беремся, потому что не нашего ума дело. Скажем лишь, что союзников и почитателей в Заволжье у преосвященного гораздо больше, чем недругов.

Впрочем, в последнее время в связи с некими событиями сии последние осмелели и подняли голову, что давало Митрофанию, помимо обычных, связанных с цикадным неистовством, еще и особенные причины для бессонницы. То-то и хмурил он высокий, в три поперечные морщины лоб, то-то и супил черные густые брови.

Хорош лицом заволжский епископ, не просто благообразен, а истинно красив, так что и не пастырю бы в пору, а какому-нибудь старорусскому князю или византийскому архистратигу. Волосы у него длинные, седые, а борода, тоже длинная и шелковистая, пока еще наполовину черна, в усах же и вовсе ни единого серебряного волоска. Взгляд острый, по большей части мягкий и ясный, но тем страшнее, когда затуманится гневом и начнет извергать молнии. В такие грозные минуты виднее и строгие складки вдоль скул, и орлиный изгиб крупного, породистого носа. Голос у владыки глубокий, звучный, с низкими перекатами, одинаково пригодный для душевного разговора, вдохновенной проповеди и государственной речи на очередном присутствии в Святейшем Синоде.

По молодости лет Митрофаний придерживался аскетических воззрений. Ходил в рясе из мешковины, истощал плоть беспрестанным пощением и даже, скажут, носил под рубахой чугунные вериги, но давно уже отказался от этих суровостей, считая их суетными, несущественными и даже вредными для истинного боголюбия. Войдя в возраст и достигнув мудрости, стал

он к своей и чужой плоти снисходительней, в повседневном же одеянии отдавал предпочтение подрясникам тонкого сукна, синего или черного. А иной раз, когда того требовал авторитет архиерейского звания, облачался в лиловую, драгоценнейшего бархата мантию, велел запрягать парадную епископскую карету шестеркой, и чтоб на запятках непременно стояли двое статных густобородых келейников в зеленых кафтанах с галунами, очень похожих на ливреи.

Находились, конечно, и такие, кто втихомолку корил преосвященного за сибаритские привычки и приверженность к пышности, но даже и они судили его не слишком строго, памятуя о высоком происхождении Митрофания, который был привычен к роскоши с детства и потому не придавал ей сколько-нибудь важного значения — *не удостаивал замечать*, как выражался его письмоводитель отец Серафим Усердов.

Родился заволжский преосвященный в знатном придворном семействе, окончил Пажеский корпус и вышел оттуда в гвардейскую кавалерию (было это еще в царствование Николая Павловича). Вел обычную для молодого человека его круга жизнь, и если чем-то отличался от своих сверстников, то разве что некоторой склонностью к философствованию, впрочем, не столь уж редкой среди образованных и чувствительных юношей. В полку «философа» считали хорошим товарищем и исправным кавалеристом, начальство его любило и продвигало по службе, и к тридцати годам он, верно, вышел бы в полковники, но тут случилась Крымская кампания. Бог весть какие прозрения открылись будущему заволжскому епископу в его первом боевом деле, конной сшибке под Балаклавой, но только, оправившись после сабельного ранения, вновь брать в руки оружие он не пожелал. Вышел в отставку, распростился с родными и вскоре уже пребывал на искусе в одном из отдаленнейших монастырей. Однако и сейчас, осо-

бенно когда Митрофаний служит в храме молебен по случаю одного из двенадесятих праздников или председательствует на совещании в консистории, легко представить, как он раскатисто командовал своим уланам: «Эскадрон, сабли к бою! Марш-марш!»

Незаурядный человек проявит себя на любом поприще, и в безвестности дальнемонастырской жизни Митрофаний пребывал недолго. Как прежде он, еще будучи в обер-офицерском чине, стал самым молодым эскадронным командиром во всей легкоконной бригаде, так и теперь ему выпало стать самым молодым из православных епископов. Назначенный к нам в Заволжск сначала викарием, а затем и губернским архипастырем, он проявил столько мудрости и рвения, что вскорости был вызван в столицу, на высокую церковную должность. Многие прочили Митрофанию в самом недалеком будущем белый митрополичий клобук, но он, поразив всех, опять свернул с накатанного тракта — ни с того ни с сего запросился обратно в нашу глушь и после долгих уговоров, к радости заволжан, был с миром отпущен, чтобы больше уж никогда не покидать здешней скромной, удаленной от столиц кафедры.

Хотя что ж с того, что удаленной. Давно известно, что чем удаленней от столицы, тем ближе к Богу. А столица, она и за тысячу верст дотянется, если взбредет ей, высоко сидящей и далеко глядящей, в голову такая фантазия.

Из-за такой-то вот фантазии и не спал нынче владыка, без удовольствия внимая надоевшим цикадьям crescendo. Столичная фантазия имела лицо и имя, звалась синодским инспектором Бубенцовым, и, прикидывая, как дать укорот этому злокозненному господину, преосвященный уже в сотый раз переворачивался с боку на бок на мягкой, утячьего пуха перине, кряхтел, вздыхал, а по временам и охал.

Ложе в архиерейской опочивальне было особенное, старинное, еще елисаветинских времен, на четырех

столбах и с балдахином в виде звездного неба. В период уже поминавшегося увлечения аскезой Митрофаний преотлично ночевал и на соломе, и на голых досках, пока не пришел к заключению, что плоть умерщвлять — глупость и незачем, не для того Господь ее слепил по образу и подобию Своему, да и не пристало архипастырю бахвалиться перед подопечным клиром, навязывая ему самоистязательную строгость, к которой иные не испытывают душевного расположения, да и по церковному уставу не обязаны. К зрелым годам стал преосвященный все больше к тому склоняться, что истинные испытания человеку ниспосылаются не в области физиологической, а в области духовной, и истребление тела отнюдь не всегда влечет за собой спасение души. Потому обставлены епископские палаты не хуже губернаторского дома, стол в трапезной и вовсе не в пример лучше, а яблоневый сад первый во всем городе — с беседками, ротондами и даже фонтаном. Мирно там, тенисто, мыслеродительно, и пускай перешептываются недоброжелатели — на дурной роток не накинешь платок.

А с коварным проверяльщиком Бубенцовым поступить надо вот как, придумал владыка. Перво-наперво отписать в Петербург Константину Петровичу про все художества его доверенного нунция и про то, какая беда может произойти для церкви от этих художеств. Обер-прокурор человек умный. Возможно, что и внемлет. Но посланием не ограничиваться, а непременно призвать к беседе губернаторшу Людмилу Платоновну — усоветить, пристыдить. Женщина она добрая и честная. Должна одуматься.

Всё и устроится. Куда как просто.

Но и после того, как от сердца отлегло, сон все равно не шел, и дело было не в круглой луне, и даже не в цикладах.

Зная свою натуру и имея привычку досконально, до винтика разбирать работу ее механизма, Митрофаний

принялся вычислять, что за червь его гложет, не попускает разуму окутаться сонным облаком. В чем причина?

Неужто давешний разговор с взбалмошной белицей дворянского звания, которой отказано в постриге? Владыка не стал ходить вокруг да около, брякнул ей начистоту: «Вам, дочь моя, не Сладчайшего Жениха Небесного надобно, это всё ваши иллюзии. Вам самого обычного жениха нужно, из чиновничьего сословия, а еще лучше — офицера. С усами». Не следовало бы так, конечно. Истерика была и потом еще долгое утомительное препирательство. Но это ладно, пустое. Что еще?

Пришлось принять неприятное решение насчет отца эконома из Богоявленского монастыря. За пьяное бесчиние и блудное хождение к женщинам неодобрительного поведения преступник был приговорен к увольнению из обители и обращению в первобытное звание. Теперь пойдет писанина — и высокопреосвященному, и в Синод. Но и это было дело обычное, причина тревоги коренилась не в нем.

Митрофаний подумал еще, пощупал в себе, как бывало в детстве, на «тепло-холодно» и вдруг понял: письмо от двоюродной тетки, генеральши Татищевой, вот где, оказывается, червоточина. Сам удивился, но сердце сразу подтвердило — горячо, в самую точку. Вроде глупость, а на душе что-то кошки скребут. Взять перечесть?

Сел на кровати, зажег свечу, надел пенсне. Где оно, письмо-то? А, вот, на столике.

«Милый мой Мишенька, — писала старуха Марья Афанасьевна, по прежней памяти называя родственника давно забытым мирским именем, — здоров ли ты? Отпустила ли тебя окаянная подагра? Прикладываешь ли ты капустный лист, как я тебе велела? Аполлон Николаевич, покойник, всегда говорил, что...» Далее следовало пространное описание чудодейственных свойств огородной капусты, и преосвященный нетерпеливо заскользил взглядом по строчкам, написанным ровным, старомод-

ным почерком. Глаза споткнулись на неприятной фамилии. «Опять навещал меня Владимир Львович Бубенцов. И что только ввали про него, будто он прохвост и чуть ли не душегуб. Славный молодой человек, мне понравился. Прямой, без фанаберий, и в собаках толк понимает. Знаешь ли ты, что он мне, оказывается, родня по линии Стрехниных? Моя бабка Аделаида Секандровна вторым браком...» Нет, и не это, дальше.

Ага, здесь: «...Но это всё к делу не относится и писано было только потому, что я по сердечной слабости медлила подойти к главному. Только соберусь, уж и духом укреплюсь, а снова слезы в два ручья, и рука трясется, и в груди холодом стискивает. Пишу я к тебе, Мишенька, не просто так. У меня большое горе, да такое, что один ты меня и поймешь, а другие, поди, и на смех поднимут, скажут, совсем дура старая из ума выжила. Хотела бы сама к тебе приехать, да мочи нет, хотя вроде бы и путь недалёкий. Лежу пластом и все плачу, плачу. Ты знаешь, сколько лет, сколько сил и сколько средств я положила на то, чтобы довести до конца дело, которому Аполлон Николаевич посвятил свою жизнь». (На этом месте владыка покачал головой, поскольку к делу, которому покойный дядюшка посвятил свою жизнь, относился скептически.) «Так узнай же, друг мой, какое злодейство приключилось в моей Дроздовке. Какой-то супостат, и ведь не иначе как из своих, подсыпал отравы в похлебку Загуляю и Закидаю. Закидай помоложе, я его рвотным камнем спасла, выходила, а вот Загуляюшка преставился. Всю ночь маялся, метался, плакал человеческими слезами и смотрел на меня так жалобно: спаси, мол, матушка, на тебя вся моя надежда. Не спасла. Под утро уж вскрикнул так жалостно, на бок упал и дух испустил. Я бухнулась без сознания и, говорят, пробыла так три часа, уж и доктор из города приехать успел. Теперь вот лежу вся слабая, и больше от страха. Ведь это заговор, Мишенька, злодейский заговор. Кто-

то извести хочет деточек моих, а с ними и меня, старую. Богом-Вседержителем молю тебя, приезжай. И не для пастырского утешения, его мне не надобно, а для розыска. Все говорят, что ты дар имеешь любого злодея насквозь видеть и всякую преступную каверзу разгадывать. Какого уж тебе еще злодейства хуже этого? Приезжай, право, спаси. А я буду вечная твоя обожательница и в духовной отпишу щедрую долю хоть на храм, хоть на монастырь какой, хоть на сирот». В самом конце письма тетка переходила из родственного тона в официально-почтительный: «Поручая себя отеческому вниманию, архипастырским молитвам и моля о владычном благословении, остаюсь преданная раба Вашего преосвященства Марья Татищева».

Тут, пожалуй, нужно пояснить про дар, о котором писала генеральша Татищева и который духовной особе архиерейского звания был вроде бы и не совсем к лицу. Тем не менее среди прочих еще более возвышенных достоинств числился за владыкой и драгоценный, редко встречающийся талант распутывать всякие головоломные загадки, в особенности с преступной подоплекой. Можно даже сказать, что была у Митрофания настоящая страсть к подобного рода умственной гимнастике, и не раз случилось, что полицейские власти, даже и из сопредельных губерний, почтительно испрашивали у него совета в каком-нибудь запутанном расследовании. Этой своей славой заволжский епископ втайне очень гордился, но не без угрызений совести — во-первых, потому, что сия гордость несомненно относилась к разряду суетных тщеславий, а во-вторых, по еще одной причине, о которой знали только он сам и еще некая особа, поэтому умолчим.

Просьба тетки — мчаться к ней в поместье для расследования обстоятельств гибели Загуляя — вечером, при первом прочтении письма, позабавила преосвященного. Вот и сейчас, перечтя послание, он подумал: чушь, блажит старуха. Полежит денек-другой и встанет.

Загасил свечу, лег, а на сердце все равно нехорошо. Попробовал помолиться за теткино выздоровление. Известно, что ночная молитва доступнее к Господу. Вот и святой Златоуст пишет, что Господь наипаче умиляется ночными молитвами, «егда соделаешь время успокоения многих временем плача».

Но молитва вышла без души, одно попугайское суесловие, а таких молений владыка не признавал. Он и епитимий молитвенных никогда ни на кого не налагал, почитал за святотатство. Молитва и не молитва вовсе, если проходит только через уста, не затрагивая сердца.

Ладно, пускай Пелагия сходит, решил Митрофаний. Пускай выяснит, что там содеялось с этим треклятым Загуляем.

И сразу отпустило, и цикады уже не бередили душу трепетным многоголосием, а убаюкивали, и луна не резала глаза, а как бы омывала лицо теплым молоком. Митрофаний смежил вежды, разгладил морщины на суровом челе. Уснул.

* * *

С утра в домовой церкви святили плоды по случаю Преображения Господня, еще называемого яблочным Спасом. Этот праздник, не самый большой из двенадцатых, Митрофаний любил за яркость и богоприятное легкомыслие. Сам не служил, стоял сзади и сбоку, на архиерейском возвышении, откуда лучше видно и разукрашенную яблоками церковь, и многочисленную публику, и священников с дьяконами в особых «яблочных» ризах — голубых с золотом, а поверху — плодно-листяное шитье. Певчие знаменитого архиерейского хора, сойдясь с двух сторон, грянули так, что тяжелая хрустальная люстра под белым сводом звонко затрепетала радужными подвесками. Отец Амфитеатров начал святить яблоки: «Господи,

Боже наш, положивый верующим в Тя пользование творениями Твоими, Сам благослови предлагающая плоды сия словом Твоим...»

Хорошо.

Служба на Спас не такая долгая, радостная. В храме пахнет свежестью и соком, потому что все со своими корзинами пришли, яблоки кропить. И подле Митрофанья, на столике, тоже лежало серебряное блюдо с огромными красными ананасно-царскими яблоками из владычьева сада, сочными, сладкими, ароматными. Кого преосвященный одарит — тому особое отличие и расположение.

Митрофанья послал костьюльника, служку при архиерейском посохе, к левому клиросу, где в ряд чинно стояли монахини, назначенные по послушанию учительствовать в епархиальной школе для девочек. Посланец шепнул на ухо начальнице, высокой, тощей сестре Христине, что владыка яблочком пожалует, и та оглянулась, склонилась в благодарном поклоне. Справа от нее (со спины не сразу догадаешься), кажется, стояла сестра Емилия, преподававшая арифметику, географию и еще несколько наук. Потом кривобокая сестра Олимпиада, эта ведала законом Божиим. Далее две одинаково сутулые, Амвросия и Аполлинария, не разберешь, кто из них кто; одна преподавала грамматику и историю, другая — домополезные рукоделия. А с краю, у стеночки, невысокая, худенькая сестра Пелагия (литература и гимнастика). Эту и захочешь, ни с кем не перепутаешь: платок-апостольник на сторону сбился, и сбоку — для монахини стыд и недопустимо — прядка рыжих волос торчит, так и отливает бронзой в солнечном луче.

Митрофанья вздохнул, вновь, уже в который раз, усомнившись, не ошибся ли, дав в свое время благословение Пелагии на постриг. Нельзя было не благословить — через большое горе и тяжкое испытание прошла